

АРКАДИЙ И ГЕОРГИЙ ВАЙНЕРЫ

Карский рейд

Часть I

БЕГСТВО

Указка ползала по карте, как худая голодная пиявка, и главнокомандующему казалось, что там, где ее острый черный кончик задерживался, она глотала опорные пункты, укрепленные деревни, охраняемые разъезды.

— ...Противник численностью до двух полков вышел через деревню Дениславская к узловой станции Плесецкая и после короткого кровопролитного боя захватил ее... — гудел где-то сбоку, над самым ухом, простуженный насморчный голос штаб-офицера.

Офицеру не хватало воздуха, его душили аденоиды, и главнокомандующему все время хотелось приказать ему высморкаться, но не было сил заговорить, и от этого Миллер плохо вникал в подробности доклада, их напрочь смывал гундосый сопливый голос штабиста. Да и в подробностях ли сейчас дело? Сейчас важна суть...

— ...При содействии местных жителей-проводников красные обошли по брошенным лесным дорогам укрепленный населенный пункт Кочмас и захватили разъезд Четыреста шестнадцать, — бурлил тяжелым носом офицер. — Из-за угрозы быть отрезанными от основных сил наш бронепоезд «Генерал Алексеев» вынужден был отступить без боя, взорвав при отходе мост через реку Емца...

— Где сейчас проходит линия обороны? — перебил штаб-офицера Миллер, слушать дальше было невыноси-

мо. Хотя в этом тоже была страшная примета всеобщего разрушения и гибели: командующему победоносной армией ни при каких обстоятельствах не мог бы докладывать офицер с заложенным носом.

— ...Нарушена связь... последние донесения недостоверны... части вышли из повиновения... — загугнил, забулькал штабист.

— Но где дислоцированы части, которые не вышли из повиновения и с которыми не нарушена связь? — зло выкрикнул главнокомандующий.

Начальник штаба генерал Марушевский горестно вздохнул, отодвинул насморочного дежурного, сишло сказал:

— Господин командующий, фронта больше не существует. Сегодня утром красные оседлали железную дорогу на Котлас, захватили Емец и Обозерскую, отрезали нас от броневых сил и стремительно катятся на Архангельск. На их сторону перешел Архангелогородский полк, гаубичный дивизион, пулеметные роты «люисганов»...

— Вы хотите сказать, Виктор Васильевич, что у нас больше нет связи с войсками и вы не представляете, что происходит на фронте? — сердито поджал губы Миллер.

Вынырнувший из-за плеча Марушевского начальник контрразведки Чаплицкий неприятно засмеялся:

— Генерал Марушевский хочет сказать, что нет фронта...

У Чаплицкого были горячечные глаза фанатика. Или человека, не пренебрегающего кокаином. Или не остывшего после свалки драчуна. Неприятный субъект. У него на лице всегда написано желание сказать дерзость. Или подпустить шпильку. И лучше всего было бы сейчас прикрикнуть на него, одернуть, поставить на место.

Но состояние бессилия, наваждения, долгого кошмарного сна, лихорадки не покидало, сковывало волю нерешительностью, а тело немощью.

Рассеянно пощипывая бородку, Миллер прислушивался к стрекочущей в виске головной боли, пронзительно-злому и надоедливому сверчку, перфорацией высекающему дыры пустоты и забвения в мятой поверхности перепуганных и смятенных мыслей.

Наваждение, обман чувств, мираж. Удивительно долгий неимоверный сон. Не могла так быстро, так внезапно, так необъяснимо свернуться, истлеть, растаять вчера еще огромная империя. Свестись к задымленному, прокуренному, оторванному от всего мира уголку гостиной Архангельского коммерческого клуба, где доживает последние часы его ставка — резиденция главнокомандующего и генерал-губернатора Северного края.

Он смотрел в яростные сумасшедшие глаза Чаплицкого, и в его душе поднималась вялая ненависть. Но звонко тархтящая боль в виске сразу смиряла ее, и он вновь погружался в зыбкую сумерь нерешительности, боязни, мистической надежды на какое-то чудо.

— Что же делать? — неожиданно для себя сказал он вслух. Громко.

И в этом крике души — сигнале полной потери воли, признании в своем бессилии и непонимании происходящего — было такое предречение гибели, распыла, исчезновения, что смолкла на миг обычная штабная суета. Даже телеграфный аппарат Бодо остановил свой непрерывный щелк и неумолимое кружение бумажных лент.

И электрический ток ослаб в лампах — будто сигнала ждал. Померк, пожелтел свет, яичным болтуном тревожно сгустился в прозрачных колбочках, накалил в них докрасна проводки и — погас совсем.

Забегали, зашаркали адъютанты, упал в темноте стул, кто-то зашибся и коротко, зло ругнулся, шелестели во мгле бумаги, и в темно-фиолетовых намерзших задышанных окнах стал все яснее и пугающе проступать багровый отсвет далекого пожара.

— Свет! Принесите лампы! К командующему свечей! — гукали, перекатывались по дому голоса.

Надсадно кричал в телефонный рожок кто-то из офицеров:

— Почему нет света? Что с электричеством? Дайте срочно свет!..

Золотистые дымящиеся овалы керосиновых ламп и выражение радостного облегчения на лицах у всех — как у перепуганных детей, выведенных из темноты. Брошенный на крюк телефонный наушник — электростанция забастовала, рабочие разбежались.

— Что же делать? — уже тихо, растерянно повторил Миллер, и было ясно, что он не ждет совета или помощи от присутствующих: ему нужна была подсказка сверхъестественных сил, способных разрушить этот длящийся горячечный кошмар ухода в небытие.

Угревшийся у голландской печи лесопромышленник Зубов, единственный штатский в кабинете, терпеливо помалкивал. Но после слов Миллера он вдруг сварливо заметил:

— Это вы, господин губернатор, должны сказать — что нам делать! Вы так яростно настаивали на передаче вам диктаторских полномочий, что я пошел на неслыханную меру — как вице-премьер, я распустил демократическое правительство Северного края! А вы за девять дней неограниченных полномочий ничего не сделали, чтобы переломить обстановку на фронте! Мы, конституционные демократы..

— Замолчите! — свистящим тонким голосом закричал Миллер. Он вскочил с кресла, затопал ногами и закричал еще пронзительнее, и криком этим он душил в себе страх, отчаяние и тонкую свиристящую боль в виске: — Замолчите, презренный либерал! Вы, вы, вы! Сытые, праздные, тщеславные болтуны довели Россию до гибели! Это не большевики, а вы раскачали устои монархии! Вам

была нужна конституция! Вы требовали Думы и Учредительного собрания! Вам была невыносима династия Романовых! Вас не устраивали правительство и армия! Вы все получили теперь — все, чего добивались! Вы развратили народ неосуществимыми посулами и хотите, чтобы мы платили за ваши обещания! Так помалкивайте, по крайней мере! Иначе я сейчас же прикажу конвойному взводу расстрелять вас во дворе!..

Миллер обессиленно упал в кресло, и в наступившей тишине вдруг раздались одинокие отчетливые аплодисменты — это хлопал в ладоши, светил горячечными глазами, весело смеялся Чаплицкий:

— Bravo! Прекрасно сказано! Если вы мне разрешите, господин командующий, я могу освободить от хлопот конвойный взвод. С удовольствием и очень умело я управлюсь в одиночку с этим ответственным и полезным делом! Разрешите приступить?..

Зубов испуганно нырнул в полумрак, подальше от этого сумасшедшего. А Миллер недовольно покосился на Чаплицкого, сглотнул несколько раз, умеривая дыхание, и негромко, но твердо скомандовал:

— Генерал Марушевский, приступайте к эвакуации на Мурманск. Абсолютно секретно. Нельзя поднимать панику в остающихся частях...

И мгновенно возникший вал безудержной паники общего бегства неостановимо покатило к причалам торгового порта.

Красноармеец Тюряпин до войны жил в теплом южном городе Ростове. А работал грузчиком на хлебных ссыпках компании «Братья Вальяно». Любил он солнце, огромные сахарные арбузы и веселую жизнь портовой вольницы, не признававшей и не терпевшей над собою никакого начальства, кроме артельного старосты. И когда в августе четырнадцатого года околоточный над-

зиратель вручил ему мобилизационный лист, купил он на прибереженный для зубов золотой империял ведро водки, свиной задок, четыре пшеничных караваев и мешок — бездонный «ламтух» — с арбузами. Товарищи по грузчицкой артели чинно приняли угощение, степенно покалякали на прощанье, обняли крепко — до костного хруста — и дали твердое наставление: на фронт не ходить нишчем.

— Не твое и не наше дело, не, — заверил артельный батько. — Пушай Вильгельм с Николой сами разбираются, раз кашу заварили...

И покати́л Тюрятин вверх по Дону до Калача, там перебрался на Волгу, на палубе парохода общества «Самолет» поднялся до Нижнего Новгорода, а уж оттуда — на Урал, в Сибирь — дорога короткая. Два года бродяжничал, пока не сцапали в Чите, и сколько ни прикидывался дурачком без памяти, без имени, без разума — укатали все-таки в маршевый батальон, направлявшийся на Западный фронт.

И открылся тут в нем талант разведчика: не было экспедиции за колючую проволоку, через линию фронта, чтобы не включили туда пластуна Тюрятина. Здоровое молодое тело, налитое хлебной силой, наловленное бесконечной беготней с шестипудовыми мешками по узким качающимся сходим, послушно и терпеливо подчинилось хитрой белобрысой голове вольного бродяги. За взятого в плен немецкого обер-лейтенанта дали Тюрятину погоны унтер-офицера, за притащенного на себе с той стороны раненого поручика Сестрорецкого полка Иоганна Федоровича Кизиветтера навесили «Георгия». «Я с этими немцами — ихними и нашими — скоро генералом стану!» — веселился Тюрятин. Но стать генералом не успел, потому что грохнула революция, развалилась армия, солдаты стали брататься, а генералов упразднили вовсе.

И к собственному удивлению, Тюряпин поехал не в Ростов, где ждали его солнце, арбузы и портовая вольница, а вступил в Красную армию и третий год подряд голодал, холодал, мерз, мок, отступал, наступал, шагал через болота, тайгу, тундру, вместо тепла южного солнца терпел приполярную стылость, вместо сахаристой мякоти арбузов, которых в здешних краях никто и в глаза не видел, пил морковный чай с сахарином и приучился даже соблюдать дисциплину.

Шестерым бородатым поморам, молчаливым, дремучим, как старый черный амбар на перекрестке дороги в порт, где они заняли позицию, Тюряпин пояснял:

— Ликвидируем белых, кончим капитализм — жизнь станет вольная, теплая, сладкая. Как арбуз. Вот ты, дядя, хоть раз в жизни ты ел арбуз?

Заросший волосьем до самых глаз дядя в облезлой собачьей дохе арбуза не ел. Он думал о том, что если сегодня-завтра красные сюда поспеют, то, может, удастся скрыть от белой интендантской реквизиции коровенку Фросю, и тогда — с молочком, с картохой, с оладьями из отрубей — можно будет дотянуть всех пятерых ребятишек до весны. А там — рыба появится, летом вообще легче, клюква пойдет, а скорбут-цинга клюквы как огня боится.

Только бы красные подошли скорей! Вот этот разбитной веселый красноармеец, когда решил остаться с ними в засаде, отправил к своим двух других и сказал им: бегите, мол, без остановки, а сюда возвращайтесь с ротой по сожженному мосту, он всего на полметра притолен, бегите быстрее, часа за три обернетесь коли, мы белых от порта отрежем...

— Ни разу в жизни арбуза не ел? — огорчился Тюряпин.

— А это што такое — мясо? Али дичь? — спросил неспешно другой бородач, внимательно всматриваясь в ночь сквозь узкие окошки-бойницы.

— «Дичь»! Скажешь тоже! Сам ты, дядя, дичь! Арбуз — это такой плод, либо, ежели по-научному, точнее говоря, — это ягода...

— Ягода! — удивилась мальчишка со степенным именем Гервасий. — Вроде клюквы, што ли?

— Клю-ква! Клюква — тьфу, кислота одна и горечь! А арбуз — как сахар, и размера — во-от какого! — развел на всю ширину руки Тюрятин.

— Во врет служивый! — восхитился мужик в собачьей дохе. — Где же это растут ягоды с котел?

И Гервасий по-мальчишечьи залиvisto засмеялся, за живот схватился, покатился от веселья и позавидовал: вот что значит городской человек — чего хошь наврет, ресницей не вздрогнет.

Тюрятин тоже усмехнулся, головой покачал несердито, сказал душевно:

— Эх, мужики, мужики, вот для того и нужна позарез победа революции, чтобы вы темноту свою осознали, из берлог своих на белый свет повылазили.

А бородач у окна вдруг сказал тихо и сдавленно:

— Эй, вы, там! Угомонитесь! Едут, кажись...

И в разом наступившей тишине отчетливо зарокотал близкий гул моторов, и тоска подступила к сердцу, и Тюрятин досадливо крикнул:

— Эть, жалость-то какая! Не успели, слышь, к нам ребята! Теперя самим придется...

Передернул затвор, загнал патрон и встал к темному проему в стене.

— А что, ваше высокопревосходительство, в Риме не бывает таких холодов? — дурашливо спросил Чаплицкий.

Миллеру послышалась насмешка в хриплом голосе офицера. Он растерянно заморгал, кашлянул, ответил без всякого проблеска иронии:

— В Италии, где я имел честь представлять военные интересы империи Российской...

— Империи... Пропили мы нашу империю... Прогуляли... — перебил Чаплицкий. Длинно, с повизгиваньем, зевнул и добавил тихо, устало, без выражения: — Теперь двинемся в Италию... Представлять... самих себя.

Офицеры ехали в бронированном «роллс-ройсе» по окраинной, плохо мощенной улочке Архангельска. Мела сырая февральская поземка, ни одного окошкa не светилося в старых покосившихся домах. Город испуганно затаился, замер, ожидал неведомых перемен.

Миллер сердито, по-петушиному, крикнул:

— Ну-ну-ну, не забываетесь, господин капитан первого ранга! Есть Мурманский фронт, есть флот! Есть, наконец, союзники!

— Что же вы их не использовали здесь, в своей столице Архангельске? — со злым истеричным весельем спросил Чаплицкий. — Еще вчера ведь и здесь был фронт, и флот был, и союзники? А-а?..

— Извольте, милостивый государь, не перебивать меня! Вы знаете, что такое стратегия? Ценою малых потерь обретается победа в главном. Кутузова, когда он оставил Москву, обвиняли в трусости... да что в трусости — чуть ли не в предательстве!

— Вот это точно, — согласился Чаплицкий. — Убедили. Вы — Кутузов. А кто Наполеон?

— Серьезность момента не позволяет примерно воздать вам за невоспитанность, — выдавил из себя Миллер, задыхаясь от возмущения. — Настоящий дворянин отличается от плебея умением и в трудной обстановке сохранять достоинство. Вы никогда над этим не задумывались?..

— Совершенно с вами согласен, господин генерал-лейтенант. — Чаплицкий едко усмехнулся. — Особенно, если учесть одно весьма существенное обстоятельство...

— Какое же? — высокомерно вскинул брови Миллер.

Чаплицкий прищурился:

— Когда мой прадед был министром двора у короля Августа, ваш предок варил пиво в Бадене...

Ответить Миллер не успел.

Когда Тюряпин увидел на полого спускавшейся к ним улице свет фар нескольких автомашин, он вдруг с удивительной ясностью понял, что с того самого момента, как он, пробравшись в город, разыскал партизан и они рассказали, что солдат-телефонист из миллеровского штаба успел шепнуть им об эвакуации, то и не надеялся он на подход подкрепления. За несколько часов им было не обернуться. Но и не задержать штаб — хоть ненадолго — Тюряпин не мог не попробовать. И о том, что отбиться ему не удастся, старался Тюряпин не думать. До того мига, пока не засветили ярко в сизой черноте ночи слепящие площадки автомобильных огней, которые никому, кроме штаба, принадлежать не могли.

И пока наводил черный плавный пенек мушки между фар и чуть-чуть выше, чтобы вернее вклеить в водителю, ущемила сердце коротко, но больно быстрая мысль о том, что на Дону уже синие широкие разводья, лед трескается и громко шуршит перед тем, как с гулким ревом сорваться разом и за одну ночь уйти в море, и над городом уже плывет соленый ветер близкой большой воды, и каштаны набухают толстыми почками, и закаты стали длинные, покойны и прозрачно-сиреневы. Эта весна была для кого-то. Тюряпину остался черный амбар на перекрестке пологой дороги в порт, медленно приближающиеся снопы света и черная черточка мушки, упершаяся наконец твердо между двумя огнями, только чуть-чуть повыше.

И осторожно спустил курок.

Еще не услышав хлопка выстрела, передернул затвор, достал следующий патрон из подсумка и снова плавно, ласково нажал спусковой крючок...

Ответить Миллер не успел.

Ночь треснула неровным ружейным залпом, и пули заколотили по толстому кузову «роллс-ройса», как палкой по корыту. В машине горько запахло паленой обивкой, холодом, и сразу стало очень неудобно.

— Анчуков, полный газ! — крикнул Чаплицкий сидевшему за рулем поручику, но тот, как будто неожиданно и неодолимо устав, осел на руль, и машина, потеряв скорость, рыскливо покатила из стороны в сторону по узкой ухабистой мостовой.

— Быстрее! Быстрее... — беззвучно зашептал онемевшими губами генерал, и Чаплицкий заметил, как в темноте нехорошо, мучительно забелело его лицо.

Чаплицкий всмотрелся в заднее стекло — было видно, как несколько человек в тулупах и шинелях перебежали улицу в проход за боковым домом. Он дотянулся с заднего сиденья до шофера, толкнул его в плечо:

— Анчуков, ты что? С ума сошел?.. Мать вашу, совсем от страха ополоумели!

Анчуков, не выпуская баранки из рук, послушно завалился на левый бок, ударился головой о дверцу, она распахнулась, и поручик выпал из автомобиля. Последнее, что успел заметить Чаплицкий, была черная прямая струйка крови, разрезавшая щеку Анчукова, как удар сабли. Снова грохнул залп — нестройный, редкий, и Чаплицкий на слух определил, что стреляющих мало и стрелки они не ахти какие.

Неуправляемый автомобиль катился по узкой пологой улице, подпрыгивая на ямах и наледях.

— Конвой! Где конвой, я вас спрашиваю... — рыдающим голосом заныл Миллер.

— Да замолчите вы! — крикнул Чаплицкий. — Это наши же солдаты стреляют. Ложитесь на пол скорее, не то уокошат! Ну! Ку-ту-узов...

Перегнувшись через спинку переднего сиденья, Чаплицкий попытался удержать руль, но тяжелый автомобиль неудержимо катился в сторону домов.

— Кто же это мог напасть на нас? — под руку бормотал главнокомандующий.

«Какой же дурень наш генерал, Господи, спаси и помилуй!» — подумал Чаплицкий и бросил:

— Конница Мюрата...

Толкнул дверцу и выпрыгнул из машины.

Упал, тяжело ударился о мостовую. Глухая боль резко отдалась в груди и животе. Над головой взвизгнула пуля, а через секунду машина с надсадным грохотом и звоном врезалась в дом. Побежало, застелилось синими огоньками, белыми сполохами быстрое бензиновое пламя...

Чаплицкий приподнялся, и тотчас рядом звякнула пуля. Он прижался к мостовой и подумал: «Когда лежу — из-за сугроба меня не видать... А ведь дуралей этот сгорит там, в машине...»

Перекатился на другой бок и в конце улицы увидел быстро приближающийся грузовик с конвоем, покачал головой: пожалуй, не успеют, но все-таки, лежа на снегу, стянул с себя шинель, сложил ее так, чтобы в свете разгорающегося пожара виден был золотой погон, потом приспособил на воротник офицерскую фуражку и выставил это сооружение из сугроба.

И прежде чем услышал выстрел, почувствовал, как дернулась в руках пробитая шинель. «Вот так и в меня когда-нибудь...» — подумал он равнодушно и, не оглядываясь на торчащее поверх сугроба-бруствера чучело, быстро отполз в сторону.

Прислушался, потом резко, рывком, вскочил и длинными петляющими бросками побежал к разбитому автомобилю.

Несколько запоздалых выстрелов ударили вслед, но Чаплицкий был уже под укрытием машины и судорожно рванул на себя заклинившую дверь.

Миллер, съжившись, лежал на полу машины. Чаплицкий потрогал его за плечо, дернул на себя — генерал зашевелился, поднял голову, судорожно выдохнул:

— Что?!

— Вылезайте, сгорите! — крикнул Чаплицкий, обхватил Миллера поперек корпуса, потянул из машины. Миллер суетливо задвигался, подался вперед, неловко перевалился через подножку.

Несколько метров проползли по-пластунски, а потом сзади загрохотал взрыв, яркое пламя взметнулось выше домов, их опалило горячим смрадным ветром — взорвался бензобак «роллс-ройса»...

Подкатил грузовик, с визгом тормознул, остановился, и из кузова ровно затрещали два «гочкиса». Личная охрана главнокомандующего — отделение из офицерского «батальона смерти» с черепами на рукавах — рассыпалась в цепь, но из проулка никто больше не стрелял.

Начальник конвоя прапорщик Севрюков крикнул Чаплицкому:

— Эт-та, оденьтесь, барин, застудитесь насмерть!

Чаплицкий криво усмехнулся, пошел к снежному брустверу. Остановившись рядом с ним, он с интересом посмотрел на свою шинель: прямо под правым погоном виднелось небольшое отверстие от пули.

Колупнул отверстие ногтем, пожал плечами, неторопливо надел сначала фуражку, потом шинель, аккуратно застегнул все пуговицы.

Тяжело вздохнул и вернулся к грузовику.

Миллер, невредимый, смертельно напуганный, срывающимся голосом командовал:

— Оцепите квартал, они никуда не могли уйти, там, впереди, — обрыв!

«Господи, какой же дурак!» — снова подумал Чаплицкий и сказал негромко:

— Ваше превосходительство, некогда их ловить... Штаб уже в порту... Ледокол ждет — мы еще до рассвета должны выйти из устья.

Миллер рассвирепел:

— Не давайте мне советов, господин Чаплицкий. Вы ведь руководите секретной службой? Поэтому займитесь своим делом — захватите террористов!

Чаплицкий поморщился:

— Разрешите доложить, ваше превосходительство: безграмотные мужики с обрезами называются бандитами... Или партизанами — как вам больше нравится...

— Не превращайте приказ в дискуссию, — закричал Миллер. — Исполняйте!

Чаплицкий взял под козырек:

— Слушаюсь, господин генерал-лейтенант. — И повернулся к начальнику конвоя: — Трех человек сопровождения господину главнокомандующему. Первый причал, ледокол «Минин». И сразу с грузовиком обратно — за нами...

К утру партизан вместе с Тюряпиным загнали в брошенную бревенчатую избу на откосе Двины. Их оставалось шестеро.

Разрозненной, но точной стрельбой они и близко не подпускали офицеров.

Севрюков пробормотал:

— Хорошо бы этих сволочей взять живьем.

— Зачем? — отозвался Чаплицкий. — Лучше погрейте их зажигательными...

Два пулемета располосовали серый сумрак очередями, из-под крыши начал стелиться грязный дымок, кое-где проглянули розоватые язычки пламени. Стреляли из дома одиночными, все реже и реже.

— Сейчас мы их вытурим оттуда, — пообещал Севрюков.

Чаплицкий внимательно смотрел на его освещенное заревом лицо — сумасшедшие белые глаза наркомана, длинные прокуренные зубы, подергивающийся уголок рта, — и его трясло от холода, усталости и тоски.

Глядя на залегших цепью карателей, он процедил со злобой и горечью:

— Российское офицерство, цвет нации!.. В Бога, святителей и всех архистратигов...

Чернели глубокими провалами выбитые окна, время от времени в них призрачно мелькал силуэт, и тогда раздавались выстрелы, одиночные, кашляющие — винтовочные, и частая густая дробь пулемета.

Огонь занялся пуще, языки пламени поднимались выше кровли, но никто не выбежал из избы.

Рухнул потолок, до неба взметнулись искры...

Севрюков заухмылялся:

— Все. Счас жарковьем потянет... Эть, суки! Им лучше в огне сгореть, чем нам в лапы...

Уже направляясь к грузовику, Чаплицкий на мгновение остановился и спросил:

— А вы, Севрюков, что бы на их месте?..

— Застрелился бы небось, — пьяно захохотал прапорщик. — Мне ведь от большевиков — да и от дворян иерусалимских — пощады ждать не приходится... — И добавил с каким-то мертвенным спокойствием: — Конечно, и я им пощады не давал. Никому... Так что на том свете сойдемся — посчитаемся...

Винтовочной стрельбы конвоя Тюряпин не боялся. А вот когда из подъехавшего грузовика избу стали поливать в два огненных хлыста пулеметы, понял Тюряпин, что пришел конец. И отступить было поздно, да и некуда — позади обрыв.

И конечно, хорошо бы еще хоть на полчасика задержать бегущих беляков — а вдруг наши успеют обернуться!

Оглушенный от грохота, со слезящимися глазами — дым все гуще заволакивал избу, — Тюряпин ровно, не спеша стрелял в черные, по-сорочьи скачущие на снегу фигурки конвоя и, когда захлебнулся, замолк ненадолго один из пулеметов, крикнул удовлетворенно.

И сразу же почувствовал острую режущую боль в щеке и сочащуюся за воротник горячую влагу.

«Убили!» — мелькнула всполошенная мысль и сразу исчезла, потому что боль не проходила.

Тюряпин нащупал рукой и вытащил из щеки длинную гладкую щепку, отколотую пулей от бревна.

«Ничего, ничего», — бормотнул быстро и сердито, взглянул в окно-бойницу, но за спиной кто-то пронзительно-коротко вскрикнул, и углом глаза Тюряпин увидел, как завалился на середину избы мужик в собачьей дохе и посунулся к нему мальчонка Гервасий.

И, разряжая винтовку в торчащий из-за сугроба золотой офицерский погон, мутно поблескивавший во мгле, Тюряпин устало, равнодушно подумал, что так и не увидел, так и не попробовал мужик взаправду существующую ягоду чудесную, размером в обхват, — арбуз.

— Гервасий! Гервасий! Иди сюда, парень! — позвал он мальчишку и бросил ему свой подсумок. — Набивай-ка мне пока обоймы...

И сколько прошло времени, было ему неизвестно, когда вдруг заросший черный мужик откинулся молча назад; во лбу у него виднелась маленькая дырочка аккуратная.

Потом страшно захрипел, забил ногами и смолк пропахший рыбой тихий помор из Лямцы.

И, схватившись за живот, сел на землю, харкнул кровью белобрысый здоровенный промысловик из Няндомы, отбросил в сторону винтовку и сказал отрешенно:

— Все! Мне кишки продырявило...

Завалилась прогоревшая крыша.

Тюряпин на ощупь, в крошечной мгле, в дыму и гари, отловил за плечо Гервасия, крикнул ему:

— Шабашим! Счас мы с тобой начнем наружу выходить, понял ты меня?

— Сдаваться? — спросил Гервасий.

— Нам с тобой сдавать нечего, — зло усмехнулся, блеснул в темноте зубами Тюряпин.

— А чего тогда?

— Слушай меня внимательно.

— Угу.

— Я выхожу в дверь первый. Ты считай до двадцати, опосля вылетай следом. И сразу направо, за угол. Сложись коlobком и лети на заднице с обрыва. Даст бог, уцелеешь, не расшибеешься...

— Подстрелят, кось, пока до обрыва-то добегу? — деловито поинтересовался Гервасий.

— Авось не успеют... Делай, как говорю!

Тюряпин сдвинул на ремне за спину две гранаты и так же деловито добавил:

— Доберешься до наших, скажешь: так, мол, и так, погиб красный боец Константин Афанасьевич Тюряпин за будущую сладкую и вольную жизнь...

Отбросил ногой кол, подпиравший дверь, широко распахнул ее и вышел вон.

И задыхающийся от дыма и жары Гервасий видел в проем, как ровным шагом пошел Тюряпин, надев на винтовку шапку, и смолкли выстрелы.

Тюряпин, остановился, воткнул винтовку стволом в снег и стал вольно, сложив руки за спиной. Для полного шика только сигарки не хватало.

Поднялись в рост белые из-за сугробов и пошли к нему быстрым шагом, побежали. И Гервасий вынырнул в этот момент наружу.

Кто-то сипло крикнул:

— Вон еще один краснопузый вылез остудиться!

— Беги, беги, пацан! — громко заорал Тюряпин и бросил под ноги — между собою и подступившими почти вплотную белыми — две гранаты.

Ослепительный красно-синий шар вспух на этом месте, отбросил Гервасия к углу избы, вышиб дух.

Но в следующий миг он уже вскочил на ноги, промчался спасительные несколько метров и бросился, не глядя, в бездонный снежный провал...

«Может, это и есть конец света?» — подумал Миллер, когда машины въехали в порт. Тысячи людей обезумели. Ими владела одна страсть, одна всеобъемлющая цель гнала их по забитым причалам в узких выщербленных проходах между складами, пакгаузами, мастерскими — прорваться любой ценой на уходящие суда.

Испуганные, дико всхрапывающие лошади, рвущиеся из постромков, перевернутые телеги, еще дымящие полевые кухни, разбитые снарядные ящики, брошенные орудия, валяющееся, уже никому не нужное оружие, разграбленные контейнеры, потерявшие хозяев собаки, растоптанные кофры и чемоданы, толпа с узлами, общий гам и крик, перекошенные в сумасшедшем ужасе лица.

И все это освещено багровым пляшущим светом пылающих на другой стороне Двины складов, дровяных бирж, лесопильных заводов.

И как знак окончательной всеобщей потери рассудка — висящий на стропях подъемного крана рояль. Черный концертный рояль.

— Майна! — закричали снизу, и крановщик, то ли по неопытности, а может быть, нарочно, освободил стропы, и рояль рухнул наземь, прямо в толпу, взметнув в низкое страшное небо столб хруста, звона и звериного жуткого вопля сотен несчастных...

У трапа ледокола «Минин» выстроилась в каре офицерская рота с направленными на толпу штыками и расчехленным пулеметом.

— Нельзя!.. Нельзя!.. — хрипел сорвавший голос начальник охраны. — Никому нельзя, здесь только штаб!..

Женщина в белой медицинской косынке с красным крестом кричала:

— Хоть раненых заберите!.. И женщин... Что ж вы делаете, красные их всех перебьют!..

Женщину отпихнули, и сразу же унес ее куда-то в сторону поток других наседающих на цепь штыков людей в котелках, шубах, шинелях.

Миллер медленно, как тяжелобольной, прошел по трапу, тонко пружинившему под ногами, и услышал за спиной голос Марушевского:

— Поднимите трап над пристанью! Они сомнут оцепление и ворвутся сюда...

Палуба подрагивала от сдержанного усердия работавшей на холостых оборотах машины ледокола. В этом было что-то успокаивающее.

Капитан доложил десятиминутную готовность. Миллер устало кивнул и пошел вдоль юта, держась для уверенности за металлический леер. Он не мог оторвать взгляда от беснующейся, обреченно давящейся на пирсе толпы. Как же это случилось? Ведь еще недавно казалось, что до победы осталось совсем мало?..

Вернее сказать, полгода назад так совсем не казалось. Особенно когда союзники стали отзывать свои войска. Это была с их стороны первая ужасная, можно уверенно сказать — роковая, гадость. Это позорное малодушие западных людей, не привыкших к трудностям. Они привыкли взваливать на нас самое тяжелое.

Еще в прошлом сентябре они всячески уговаривали оставить Север и перебросить всю северную армию к Деникину, на юг России.

СОДЕРЖАНИЕ

Аркадий и Георгий Вайнеры КАРСКИЙ РЕЙД	5
Аркадий Вайнер НЕЛЮДЬ	237
Аркадий и Георгий Вайнеры НЕ ПОТЕРЯТЬ ЧЕЛОВЕКА	397